

зался ее глаз и столь остр слух?)

Она же пишет о нужде, в какой жили Бунины накануне Нобелевской премии (да и потом, два-три года спустя, тоже), — прав, прав, выходит, был старик Пащенко, предрекая молодому поэту полунисенское существование.

Письма старого Бунина полны такого же отчаяния и мольбы о помощи, как и письма Бунина юного, не могущего свести концы с концами и вдобавок ко всему задумавшего жениться на чудесной Варечке. «Нужда положительно приперла меня к стене, — жаловался он брату, — убивает все надежды и думы своей неумолимо безвыходностью... Поверь, Юричка, не раз уже я ходил из-за денег чуть не до петли».

Написано это в августе 1891 года, ровно через год после той фантастической ночи в саду. Варя по-прежнему с ним, Варя любит его и, кажется, любит все сильнее, как ни противятся ее родители этому неравному, этому губительному, считают они, союзу. Губительному и для нее, и для него...

Сначала дочь ни о чем не говорила им, конспирацию соблюдала, но однажды в поезде, по дороге в Елец, куда она ехала с матерью и тайным своим возлюбленным, у того разболелись зубы. «Я лег, — писал после брату Бунин, — и Варя стала укрывать меня пледом и целовать меня, ласкать. В это время подошла мать! Мы, разумеется, не стали отрицать. Разумеется, на другой день вышел скандал...»

В романе этой сцены нет, зато есть другая, тоже в поезде.

«Вагон был старый, высокий, на трех парах колес; на бегу, на морозе, он весь гремел и все падал, валился куда-то, скрипел дверями и стенками, замерзшие стекла его играли серыми алмазами... Мы были уже где-то далеко, была поздняя ночь... Все произошло как-то само собой, вне нашей воли, нашего сознания...»

А после? После она «встала с горящим, ничего не видящим лицом, поправила волосы и, закрыв глаза, недоступно села в угол...»

Так они стали — без венчания, без отцовского благословения, без одобрения матери — мужем и женой. Окружающие и воспринимали их так, ибо жили они, ни от кого не таясь, открыто и трудно. Трудно не только материально — первое время не было даже мебели, на полу спали, — но и психологически. Это, правда, уже позже, когда пообжились, поосмотрелись, он даже устроился на работу.

«Мне стало казаться, что далеко не все благополучно и в нашей близости, в согласованности наших чувств, мыслей, вкусов, а значит, и в ее верности: «этот вечный раздор между мечтой и существенностью», вечную неосуществимость полноты и цельности любви я переживал в ту зиму со всей силой новизны для меня и как будто страшной незаконности по отношению ко мне».

Письма Бунина к Варваре Пащенко — часть их опубликована в 1956 году смоленским издательством — наглядно иллюстрируют эту сформулированную в романе «неосуществимость полноты и цельности любви».

«Сейчас, Варя, без 15 м. 6 ч. — следовательно, прошло меньше 6 часов, как мы в последний раз обнялись; за это время я пообедал, пил чай и прочитал почти всю корректуру; вот и все... Что же я могу написать тебе?... А между тем, страшное желание поговорить с тобой, написать тебе; написать могу только о себе...»

Он и пишет о себе — только о себе, себе, себе («Ты только о себе думаешь», — вырывается у Лики), ее же будто и не существует вовсе. Об этом жестко и точно сказано героем рассказа «В ночном море», понявшим, что любимая женщина для его собеседника «есть просто вы, ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И значит, трогали, волновали вы себя только самим собой».

Варя Пащенко не могла сформулиро-

вать это столь сурово, но понимать понимала, и тем отчетливей, чем горячеей уверял он ее в своей любви.

«Ты говорила мне, что за последнее время я изменился, изменился к худшему... стал будто бы меньше любить тебя: неправда!.. По целым дням и ночам, во сне, как живая стоит предо мною моя ненаглядная девочка!»

Написал и сам почувствовал: не то, фальшиво — что-то, а слух на живое слово у Бунина был, — и тотчас прибавил: «Не смущайся, бесценная, милая Варенька, что последняя фраза звучит несколько непросто! — дорогая моя! я в таком настроении, что я фразирую и стараюсь только покрасивей выразиться».

Что может женщина ответить на такое? «Как ты все всегда преувеличиваешь!» — говорит Лица в романе, и то же самое говорила — наверняка говорила! — реальная Варвара Пащенко. «Деточка! — увещевал ее будущий мастер строгой и точной прозы, — не заподозри ты, ради Христа прошу тебя, что и сейчас-то я преувеличиваю».

Слова эти в письме подчеркнуты. Стало быть, подозрение было... Стало быть, укоряла... А он в ответ сыпал новыми клятвами и новыми заверениями:

«Я люблю тебя, Варя, сильно и серьезно люблю. Я никогда не смотрел легкомысленно на такие отношения вообще, а на наши в особенности. Поэтому я много, слишком много думал о них и поверял себя и каждый раз убеждался, что мое чувство серьезно».

Когда-то, мечтая о будущей семейной жизни, юный Бунин торжественно обещал: «Буду я тебя убаюкивать, буду целовать твои утомленные глазки...» Реальность, увы, оказалась куда суровей. Суровей не только нарисованной им идиллии, но и того, что описано в романе. Вот что рассказывает об их жизни сама Варвара Пащенко:

«За последнее время особенно часты и резки стали ссоры с Ваней; сначала я и сама придерживалась пословицы: «Милые бранятся», и каждая наша ссора кончалась хорошим миром, теперь же эти ссоры участились и мы, буквально, миримся для того, чтобы вновь пооссориться».

Так писала она летом 1892 года брату Бунину Юлию Алексеевичу, единственному человеку, с которым могла быть откровенна (родители по-прежнему не признавали ее не освященного церковью самовольного брака) и который, надеялась она, способен хоть как-то повлиять на Ивана.

«Поверьте мне, что я его очень люблю и ценю, как умного и хорошего человека, но жизни семейной, мирной у нас не будет никогда. Лучше, как мне ни тяжело, теперь нам разойтись, чем через год или полгода. Это, согласитесь, будет и труднее и тяжелее. Сама я не могу этого ему сказать, потому что достаточно мне принять серьезный тон, чтобы у него явилось озлобление, он начинает кричать на меня, и дело кончается истерикой, как, например, вчера, когда он бросился на пол в каменных сенях и плакал, как в номерах «Тула», где он в порыве раздражения хотел броситься из окна».

В романе опять-таки подобных сцен нет, но есть сцены примирения — Бунин воспроизводит их с мельчайшими подробностями, вплоть до фиалкового запаха «ее темных прекрасных волос и платочка, который она, помирившись со мной, еще долго держала в руке».

Запах-то помнит, но многое другое предпочел бы забыть. «Воспоминания — нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже особая молитва спасения от них».

По-видимому, к числу таких как раз воспоминаний относится и то, о чем в отчаянии пишет бунинскому брату Варя Пащенко.

«Он мне толкует о моей неразвитости, — я знаю это сама, — но к чему принимать такой холодный, обидный саркастический тон?! Он говорит беспрепятственно, что я принадлежу к по-

шлой среде, что у меня укоренились и дурные вкусы, и привычки, — и это все правда», — смиренно признает молодая женщина, после чего заклинает единственного своего друга приехать и растолковать брату, «что я не гоюсь ему в жены, что ему нужно жену и более образованную, и развитую».

Все-то понимает она, все ясно видит... Видит, что долго так продолжаться не может, но разорвать не в силах. (Пока!) Он тоже понимает и тоже видит, однако пугает и гнетет его совсем другое.

«Одна мысль о жизни без нее привела бы меня теперь в ужас, но и возможность нашей вечной неразлучности вызвала недоумение: неужели и впрямь мы сошлись навсегда и так вот и будем жить до самой старости, будем, как все, иметь дом, детей? Последнее — дети, дом — представлялось мне особенно нестерпимым».

До старости дожил Иван Алексеевич Бунин, до глубокой старости, но ни дома — своего дома, — ни детей не было. (Сын от скоропалительного и случайного, быстро распавшегося брака умер совсем крошкой.) Стало быть, прожил ту жизнь, какую хотел прожить, хотел всегда, пусть даже и безотчетно, и женщина, которую он упрекал в неразвитости, угадала это любящим сердцем.

«Со временем, — робко писала она ему, — может быть, и я сумею оценить тебя вполне».

Сумела... И сделала то единственно, на что он, мужчина, никогда б не отважился: ушла от него. Ушла насовсем...

Прощальная записка ее была короткой: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом».

«Эта фраза, — писала из Парижа в 1957 году Муромцева-Бунина русско-му исследователю творчества покойного мужа, — эта фраза так часто цитировалась в течение нашей жизни и при Юлии Алексеевиче, что я не сомневаюсь в ее подлинности».

Юлий Алексеевич был тем самым человеком, которому Варя Пащенко, уезжая, оставила для его брата записку.

Брат медлил, оттягивая страшную минуту. «...он не сразу передал мне, все сперва подготавливал меня, — и с большой неловкостью, — наконец решился, скупо заплакал и подал».

Далее в романе следует текст записки, куда более пространной, нежели был в действительности. Не удивительно: за лаконичной фразой — «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом» — скрывалось гораздо, гораздо большее. И он, разумеется, прочел это.

«Не могу больше видеть, как ты все дальше и дальше уходишь от меня, не в состоянии продолжать переносить оскорбления, которые ты без конца и все чаще наносишь моей любви, не могу убить ее в себе, но не могу и не понимать, что я дошла до последнего предела унижения, разочарования во всех своих глупых надеждах и мечтах, молю Бога, чтобы он дал тебе сил пережить наш разрыв, забыть меня и быть счастливым в своей новой, уж совсем свободной жизни...»

Он бросился ее искать. К отцу ее бросился, — куда же еще! — к доктору, но «в дом доктора меня просто не пустили».

Побрел куда глаза глядят, в совершенной прострации. «Думаю, что я не застрелился в эту ночь только потому, что твердо решил, что все равно застрелюсь не нынче, так завтра».

Бунин, помним мы, был склонен все на свете преувеличивать, но в данном случае романист пишет чистую правду: сохранилось письмо его сестры, где она прямо говорит, что боится отпустить от себя брата Ивана. «Да он и сам мне говорил, что я один не поеду, я за себя не ручаюсь».

В это время Бунин уже знал, что Варя не просто ушла, а ушла к другому, к сыну елецкого помещика (и будущему актеру) Арсению Бибикову.

К другому! Навсегда! Замуж вышла... Неужели замуж? Когда он услышал

об этом, у него, по собственным его словам (на письме, правда, отсутствует дата — в таком состоянии писал), у него «зашумело в ушах и голова похолодела, и почти бегом бегал три часа по Ельцу, около дома Бибикова, расспрашивал про Бибикова, где он, женился ли».

Женился, ответили ему. «На Пащенки...»

Все, стало быть, правда. С трудом добрался до вокзала — «быть одному мне было прямо страшно», и здесь, на вокзале, у него хлынула носом кровь. Обессиленно на скамью опустился...

Он, конечно, знал Арсения Бибикова, хорошо и давно знал, даже, было дело, слегка ревновал к нему Варю, но, признаться сорок лет спустя в прощальном своем романе, ему «не приходило в голову, что у нее могли быть (и есть) тайные... чувства и мысли». К тому же разве не говорила она: «Я тебя брошу только в том случае, если увижу, что я тебе больше не нужна, что я мешаю тебе, твоей свободе, твоему призванию?»

Увидела, выходит?

Бунин сжимал виски. О, как ошибается она! Она не только не мешает, она необходима ему, необходима как воздух. (Вот и она говорила о том же, разве что с горечью: «...я для тебя становлюсь как воздух: жить без него нельзя, а его не замечаешь...») Необходима гораздо больше, нежели тому, другому...

То были жуткие минуты, жуткие часы, жуткие дни. Никогда не забыть ему «весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену и который по целым дням и ночам, почти непрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, — вернее, половой умиленности, — к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить с самой лютой ненавистью, и осыпать самыми унижительными знаками истинно собачьей покорности и преданности».

Бунин вложил эти слова в уста героя, но героя не «Жизни Арсеньева», а рассказа «В ночном море». Кажется, человек этот и сейчас, по прошествии стольких лет, не может смириться с тем, что женщина, «все особенности тела и души которой знаешь, как свои пять пальцев», ушла к другому. «Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим?»

Что же касается «Жизни Арсеньева», то она, помнит читатель, заканчивается смертью возлюбленной. Не замужеством, а смертью, что, впрочем, для брошенного одно и то же. Не потому ли на ее действительную смерть, о которой Бунину поспешил сообщить бывший соперник Арсений Бибиков, давно уже вновь ставший его близким товарищем, — не потому ли на взаимовдвинутой смерти последовала столь спокойная, самого его удивившая реакция? О чем он со свойственной ему беспощадностью и записал в дневнике первого мая 1918 года... И даже отказался проститься с покойной — это сделала его жена Вера Николаевна...

«Вечером я поехала одна на квартиру Бибиковых, — они жили далеко, где-то у Красных Ворот. Панихиды не было. Покойница лежала исхудавшая, маленькая, помолодевшая, — я сразу же представила ее в пору их романа».

В соседней комнате, описывает далее Вера Николаевна, сутились какие-то женщины, трещала на примусе ячица... Бунин, видимо, предполагал, что увидит нечто подобное и — не захотел видеть, поостерегся. «Все мое чувство состоит из поэзии...» И он, настанет час, воплотит эту поэзию в удивительные страницы.

«Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда».